

*Е.Е.Жуковская*  
**Вспоминая  
Аню Журавлеву**

**П**ервую нашу встречу, момент знакомства вспомнить не могу. Впечатление такое, что мы были вместе всегда, с первого момента нашего пребывания в университете.

В самый первый миг некоторым Аня могла показаться несколько отстраненной, замкнутой. Причина такого впечатления – ее стеснительность, застенчивость. Но стоило лишь приблизиться к ней, как сразу открывалась ее необыкновенная доброта, готовность прийти на помощь каждому, кто в этом нуждался.

Многое у нас с Аней совпадало, было каким-то образом связано.

Жили мы обе в центре Москвы, и была какая-то связь между местами нашего обитания.

Аня жила на углу Садового кольца (Зубовский бульвар) и Пречистенки (тогда Кропоткинская), а я – в переулке, параллельном Никитскому бульвару, т. е. на границе бульварного кольца. Таким образом наше общее московское пространство, где мы так много бродили, любили гулять, располагалось между Садовым и бульварным кольцами и улицами Пречистенкой и Арбатом, само собой разумеется, старым, так как Новый возник через лет после нашего окончания университета. Разрушение одного из удивительных уголков старой Москвы и прокладка так называемого Калининского проспекта (первоначальный



вариант названия) вызывало у нас, как и у многих старых москвичей, чувство возмущения и боли. Тогда были уничтожены удивительные переулки, знаменитая Собачья площадка, под снос попало прекрасное старинное здание 1-ой мужской гимназии на углу Поварской ул. и Б. Молчановки (в этом здании находилась моя 91-я школа). И нельзя забывать, что город тогда был совершенно другим. Не было такого количества людей, не было потока машин (даже в центре проезжали время от времени отдельные машины). Москва тогда была похожа на уютный провинциальный город. Было много старых и старинных домов и домиков. В переулках было много деревьев, особенно тополей. Дворы от улицы (переулка) отделяли заборы, которые были снесены в 60-е годы. Что было плохо, так это состояние церквей. Часть из них была просто закрыта и имела вид удручающий – заброшенности и оставленности. Другая же часть церквей использовалась не по назначению. Так, в Николопесковском пер., выходящем на Арбат, в Никольской церкви помещалась студия мультфильмов (это еще лучший вариант), и там работал прекрасный и впоследствии знаменитый аниматор Юрий Норштейн. (Этот уголок старой Москвы запечатлен Поленовым в картине «Московский дворик» 1878 г.) В храме Большого Вознесения на Б.Никитской обитала физическая лаборатория (и там проводились опыты, связанные с электрическими разрядами).

В маленькой церкви, которая находилась во дворе 91-ой школы, на Поварской улице, помещалась пошивочная мастерская.

Все эти церкви были возвращены верующим в 90-е годы.

В ближайшем нашем с Аней общем пространстве действующими в наши студенческие годы были: храм Николая Чудотворца («что в Хамовниках»), где отпевали Аню и ее дедушку; храм Илии Обыденного (в Обыденском пер., недалеко от метро «Кропоткинская»), где отпевали Владимира Николаевича Турбина и Аниного дядю Дмитрия Ивановича Журавлева; храм апостола Филиппа в Филипповском пер. (около Арбатской пл.); храм Воскресения Слоущего в Брюсовом (тогда Брюсовском) переулке.

Храма Христа Спасителя в наши университетские годы не было. Сначала там был забор с каким-то вялотекущим вечным



строительством, а потом (уже после нашего окончания) возник открытый бассейн «Москва».

Особенно любимым был для нас удивительный мир арбатских переулков, по которым мы бродили и весной, и зимой.

Иногда даже терялись в этом лабиринте, но потом выходили на освещенный Арбат (по которому в те времена ходил 2-й троллейбус). В конце Арбата, ближе к Смоленской, помещался маленький и уютный кинотеатр «Арс», куда мы иногда заходили.

Между нами курсировал 15-й троллейбус, но часто мы ходили друг к другу пешком. Иногда шли по Садовому кольцу от Зубовской до Смоленской площади, иногда с заходом в кинотеатр «Стрела». Со Смоленской поворачивали на Арбат, на углу которого находился знаменитый тогда Смоленский гастроном. Там был открыт редкий по тем временам кафетерий с прекрасным черным кофе и очень вкусными пирожками. Там же впервые появился роскошный молочный коктейль, который пользовался у всех нас (студентов) большой популярностью. В те годы поездки за границу были крайне редки и связаны были больше

с командировками. И однажды двое наших командированных заразились там (кажется, в Индии) оспой.

Всех москвичей предупреждали, чтобы были осторожны в местах общественного питания. Но на нас, по нашей молодой глупости, это не действовало, и мы (несколько человек) приезжали сюда с лекций и устраивали «пир во время чумы».

Иногда, идя от Ани ко мне пешком, шли дальше по Садовому до Кудринской (тогда площади Восстания). В так называемом «высотном» здании находился кинотеатр «Пламя», куда мы иногда заезжали прямо с лекций.

Другой наш путь от Ани ко мне пролегал по Пречистенке, а потом по бульварному кольцу – Пречистенскому, а тогда Гоголевскому бульвару до Арбатской площади, а затем – по Никитскому до Никитских ворот, где находился один из самых наших любимых кинотеатров – Кинотеатр повторного фильма (первый из московских кинотеатров, ныне, увы, уже не существующий в своем прежнем качестве). Там всегда шли прекрасные старые фильмы («У стен Малапаги», «Набережная утренних туманов» с Жаном Габеном и мн. др.). Главным образом через этот кинотеатр мы познакомились и с итальянским неореализмом («Рим – открытый город» Росселини, «Рим, 11 часов» и «Нет мира под оливами» Де Сантиса, «Похитители велосипедов» Де Сики, «Самая красивая» Висконти и др.)

Польское послевоенное кино и любовь к нему пришли к нам уже после окончания университета.

Одно из самых наших с Аней любимых мест в Москве – консерватория, которая, можно сказать, стала нашим вторым домом. Располагалась она между университетом, находящимся на углу Моховой ул. и Б.Никитской (тогда ул. Герцена), и моим домом (рядом с Никитскими воротами).

Так что отправлялись мы туда или прямо из университета, вверх по Б.Никитской, или – чаще – от меня.

Накануне нового концертного сезона покупали абонементы в Большой и Малый залы. Зал Чайковского мы не любили, ходили туда редко, если только не могли попасть в Большой Зал Консерватории. Абонементы брали на симфоническую музыку (выбирая программу и дирижера) и на фортепьянную.

Нам необыкновенно повезло. В те годы выступали (и были в расцвете) выдающиеся музыканты. Мы слушали гениального Рихтера, старались попасть на все его концерты, и нам часто это удавалось. Успели мы застать и выдающегося пианиста Софроницкого (который славился непревзойденным исполнением Скрябина). Очень любили камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая и покупали обычно абонементы на него (пока он не уехал на Запад, что явилось для всех нас большой потерей). Наши с Аней музыкальные вкусы полностью совпадали. И в каком бы настроении и состоянии мы ни пришли сюда (в Большой Зал), нас сразу охватывало удивительное ощущение какой-то приподнятости и в то же время покоя.

Несколько позднее, с самого начала его появления, мы открыли для себя ансамбль старинной музыки «Мадригал» (сначала под управлением Андрея Волконского; он же играл на клавесине). Это были прекрасные музыканты, которые умели создать удивительную атмосферу старины. Проходили эти концерты тогда в Зале Дома ученых на Пречистенке, уже ближе к Аниному дому.

Семья Ани – это истинная демократическая (не в современном, а в старом смысле слова, включающем происхождение и нравственные ценности) русская интеллигенция.

Дядя Ани Дмитрий Иванович Журавлев – доктор физических наук, профессор, заведовал кафедрой физики в Институте землеустройства. Ученый-физик, прекрасный педагог, он любил и знал литературу, историю и философию так, как будто он был специалистом в этих областях знания. Это был человек необыкновенной порядочности и доброты, высоты духа. Таких в прежние времена называли святыми. Он умел найти общий язык с любым человеком – ребенком, ученым, простой деревенской женщиной. Студенты его обожали.

Мама Ани Екатерина Ивановна – химик-органик, кандидат химических наук, занималась сахарами, была крупным специалистом в этой области; имела учеников, ее часто приглашали в качестве эксперта на производство (кондитерские фабрики). Как и брат, она была человеком необыкновенно добрым, активно добрым, стремящимся оказать помощь. Но характеры у них

были разные. Если Дмитрий Иванович был человеком сдержанным и тихим, то Екатерина Ивановна имела характер взрывной, горячий. Дмитрию Ивановичу в большей степени была свойственна ироничность.

Их отец, дедушка Ани, был священником. (Наша с Аней связь: у меня священником был прадед, отец бабушки.)

Дедушку Ани я не застала: он вскоре (когда мы учились на первом курсе) умер.

Вспоминается один знаменательный факт, характеризующий этих редких людей.

У них была домработница Нюра, молодая девушка, недавно приехавшая из деревни. Делать (готовить) она тогда ничего не умела, но это никого не раздражало, все старались ей помочь.

Мама и дядя направили её учиться в вечернюю школу рабочей молодежи и внимательно следили (особенно дядя) за ее учебой. Школу Нюра благополучно закончила и встретила там своего будущего мужа, хорошего человека.

Намного больше общалась с Аниными родными Тоня Музыкантова, которая часто бывала в их доме, иногда жила. Они относились к ней как к члену и. И Аня в своих курсовых воспоминаниях назвала ее «нашим домашним человеком».

Мы же с Аней чаще общались или вне дома, в разных местах, или у меня, так как я жила ближе всех от университета, в полчасе ходьбы.

Анина я жила в большом, так называемом «доходном», доме на последнем, пятом этаже. Квартира, как и у большинства из нас в то время, была коммунальная, довольно большая.

Комната их, первая справа по коридору, находилась напротив общей кухни (из которой поздно вечером все жильцы уносили в комнаты всю свою утварь). На стене в коридоре висел общий телефон.

Их комната в коммуналке – это особый мир, в котором отразились и время, и характеры этих необыкновенных людей.

Комната Журавлевых была просторная (метров 30), с высокими потолками и большим окном, выходящим на Садовое кольцо (Зубовскую площадь).

В начале нашей университетской жизни там обитали (пока

был жив дедушка) пять человек, которых надо было где-то разместить.

И эта задача была решена очень грамотно. Слева от входной двери был «построен» из книжных шкафов и стеллажей «кабинет» дяди, где помещался небольшой письменный стол с настольной лампой и стул.

Справа от входной двери была «кухонная» зона (закрытая портьерой), где находился холодильник и посуда; в глубине этого пространства (у стены) постель дедушки (а затем Ньюры).

Далее (по продвижению от входной двери) размещалось основное жизненное пространство комнаты, включающее в себя «столовую» и «гостиную»: большой обеденный стол посередине, два дивана под углом друг к другу – один у левой стены, второй у «стены» дядиного «кабинета». У правой стены стояло пианино. Здесь же, ближе к окну, помещался «кабинет» Ани: большой письменный стол с двумя тумбами, книжный шкаф, большое зеркало. В ночное время все это пространство превращалось в спальню.

Комната эта была прекрасна: благородные обои под старину, много воздуха (за счет высоких потолков), много света. Из большого окна открывался широкий вид на окрестности: слева Садовое кольцо, уходящее к Парку культуры, справа – к Смоленской площади, а прямо следовала дорога по Большой Пироговской (через Девичье поле – сквер, где любил гулять Дмитрий Иванович, а в детстве и Аня с дедушкой) к Новодевичьему монастырю.

Почти напротив их дома, на противоположной стороне Садового, находился маленький клуб (ныне несуществующий), где часто крутили хорошие фильмы и куда легче было попасть, чем в большие кинотеатры.

Мы называли это место «у Витьки», «пойти к Витьке».

Как-то мы были там, и фильм долго не начинался, публика стала волноваться, и кто-то из местных клубных закричал: «Где же этот Витька (киномеханик), куда запропастился?!» Причина временной пропажи механика вечером в выходные была более чем ясна. Но в конце концов Витьку нашли и доставили в будку, откуда он, к великой радости публики, все-таки показал кино.

Рядом с домом, на Садовом кольце, находилась и Анина школа. Если дом был слева от Пречистенки, то школа – справа, во втором здании от угла. Это бывшее здание гимназии.

В годы Аниной учебы директором школы была заслуженная учительница, послужившая прототипом героини известного советского фильма «Сельская учительница», которую сыграла народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая (а ее дочь Маша училась на нашем курсе во французской группе).

Как рассказывала Аня, об этой школе ходили легенды, что там якобы царили гимназические порядки и ученицы делали книксен. Что касается книксенов, то это фантазии, просто на переменах ученицы должны были чинно гулять парами по коридору.

Но был другой знаменательный факт, связанный с этой школой. В девятом-десятом классах там ввели преподавание латыни, что было довольно диковинным и редким для того времени.

А преподавала ее Юдифь Матвеевна Каган, человек удивительный, из числа первых диссидентов.

В то время она была молодой женщиной, недавно окончившей Иняз, к которому относилась весьма скептически. Она говорила, что там готовят только «толмачей», не уделяя должного внимания культуре (литературе, истории) страны изучаемого языка.

Человек высокой культуры, энциклопедически образованный, обладающий высокими личностными качествами, Юдифь Матвеевна сыграла большую роль в последующей жизни Ани.

Мы благодарны судьбе за то, что нам выпало счастье учиться в старом здании университета. Очень многое было бы потеряно, если бы нам пришлось провести свои студенческие годы в стеклянно-бетонной коробке, лишенной корней и прошлого. (Прошу прощения у тех, кому было суждено последнее.)

Филфак наших студенческих лет помещался в старом (по времени создания) здании на углу Моховой и Большой Никитской (тогда ул. Герцена) на четвертом этаже, где располагался деканат (дверь туда была на лестничной площадке, слева), преподавательская, раздевалка и аудитории. В самом начале коридора, слева, находилась вторая аудитория, самая просторная

и красивая, круглая, со многими окнами, выходящими на Моховую и Б.Никитскую. Там проходили многолюдные семинары (для нескольких групп) или спецкурсы (в том числе и Владимир Николаевич читал короткий спецкурс, когда мы учились на четвертом курсе). Коридор был тесным, особенно в перерывы, когда студенческие массы перемещались из факультетских аудиторий в другой корпус на лекции. Особенно тесно и шумно бывало в перерывы около раздевалки, где на противоположной стене висели полотнища стенгазет – факультетской «Комсомолии»



*Ю.М.Каган (крайняя справа в нижнем ряду),  
Аня Журавлева (крайняя справа во втором ряду снизу)*



*Ю.М.Каган (в центре)*

(возможно, название это пришло из ИФЛИ после слияния его с филфаком МГУ – см., например, воспоминания Д.Самойлова (Перебирая наши даты», (М., 2000)) и нашей курсовой «Во весь голос». В те бурные годы там часто появлялось что-то острое и интересное. Так, в нашей газете

были помещены статьи наших студентов о Хемингуэе (который не был тогда включен в программу по зарубежной литературе для русского отделения), статья о Пастернаке, который также не входил в программу; статья студентов-фольклористов о бедственном положении северных деревень. (См. об этом воспоминания нашего выпуска). После раздевалки и стенгазет коридор делал резкий поворот направо. Там находились многочисленные аудитории, довольно темные, с небольшими окнами (по сравнению с большими высокими окнами третьего этажа) и необыкновенно широкими и уютными подоконниками, на которых было так хорошо сидеть в перерывы, особенно весной, когда грело солнце. В одной из таких аудиторий проходили и самые важные и интересные для нас занятия спецсеминара (но об этом потом). В этой части коридора находилась и кафедра русской литературы, у дверей которой мы с Аней, начиная со второго курса, часто ждали нашего научного руководителя.

Филфаку принадлежал также третий этаж, который был вдвое короче четвертого. В начале коридора находилась большая круглая комната, в которой обитала кафедра современного русского языка.

Здесь же находилась маленькая уютная читалка, в которую иногда забегали перед каким-нибудь семинаром, чтобы успеть ухватить последнюю порцию знаний. Напротив помещался

буфет. О последнем ничего хорошего сказать нельзя. Нас в течение всех лет учебы мучил вопрос, ответа на который мы так и не получили. Там продавали так называемые марципаны (булочки с ореховой начинкой). И за все годы учебы нам ни разу не попался свежий экземпляр. Мы все гадали: где же бывают свежие?

На втором этаже была уже не наша территория – журфак.

Достопримечательностью этого здания была знаменитая чугунная лестница, по которой ходили студенты многих предшествующих поколений и их преподаватели, среди которых было много выдающихся ученых. А теперь ходим мы, студенты филфака 1955–1960 гг.! Ощущение удивительное и незабываемое. (Теплые слова об этой лестнице можно найти у многих авторов воспоминаний наших выпускников.)

В центральной части этого здания, на втором этаже находился читальный зал для студентов младших курсов. Это было роскошное помещение, с высокими окнами и очень высокими потолками. Окна располагались только на одной, обращенной на улицу (точнее, в сквер) стороне. Остальная часть этого зала располагалась в глубине, и там необходимо было искусственное освещение. Поэтому мы старались занять места у окна. На первых курсах мы готовились здесь к экзаменам по литературе (т.е. читали тексты) античной и зарубежной. От Моховой улицы это здание отделяла чугунная ограда, внутри которой находился небольшой уютный сквер: липы, которые в весеннюю пору (сессию) бурно цвели и наполняли это пространство пьянящим ароматом. И мы иногда покидали помещение вместе с книгами и устраивались на скамейках под липами. Общие курсовые лекции проходили обычно в другом здании, так называемом аудиторном корпусе, который по времени создания был более новым по сравнению с описанным выше. Аудиторный корпус отделялся от старого корпуса Б.Никитской улицей. И часто в течение дня мы бегали из одного здания в другое, иногда даже в холодное зимнее время не надевая пальто (а курток тогда не было!).

В аудиторном корпусе находились большие лекционные аудитории, прежде всего знаменитая Коммунистическая (ныне и до революции – Богословская). Находилась она на втором этаже,

и две двери ее выходили на знаменитую балюстраду, над которой высоко (уже на уровне третьего этажа) вздымалась стеклянная крыша, через которую пробивались солнечные лучи.

Как-то так сразу получилось, что мы с Аней всегда сидели рядом – и на лекциях, и на практических занятиях.

Все общие курсовые лекции проходили в Коммунистической аудитории. И, как правило, все сидели на постоянных местах. Входили мы туда в правый вход (и никогда – в левый) и поднимались по лестнице до середины амфитеатра. Вся наша 4-я немецкая группа русского отделения сидела только там (далеко не всегда в полном составе, в том числе и за наш счет, хотя посещение лекций тогда было строго обязательным). С края, у прохода, обычно сидели самые прилежные и дисциплинированные (которые приходили раньше). Мы же забирались обычно вглубь. Аня всегда сидела справа от меня.

Первый курс запомнился прежде всего лекциями Сергея Ивановича Радцига по античной литературе. Маленький, седой, казалось, что сам он пришел из того легендарного времени, о котором так увлеченно и увлекательно рассказывал. Оказывается, он читал свои незабываемые лекции и студентам ИФЛИ. (Истории, философии, литературы институт, в 30-е гг. в СССР гуманитарный вуз университетского типа. В Москве существовал в 1931–1941 гг., затем слился с Московским университетом. Был знаменит своими выдающимися учениками: учеными, поэтами.)

Прекрасным лектором был артистичный Владимир Иванович Чичеров (фольклор), увы, рано и внезапно ушедший. Он не успел дочитать нам курс. Умер скоропостижно, весной; говорили, произошло это в саду, когда он сажал яблони. Нас всех это поразило, но осталось ощущение, что смерть этого светлого человека (хотя и трагически ранняя) была необыкновенной: слияние с природой в момент ее возрождения.

Особым усердием в записи лекций (это касается и последующих лет) мы с Аней не отличались. Было интересно – предпочитали слушать, а нет – так и не слушали. Но однажды (на втором или третьем курсе) решили экономить (!) время и силы и записывать лекции по очереди в одну нашу с ней общую тетрадь.

*Памяти  
Анны Ивановны Журавлевой*

---



*А.Журавлева и Е.Жуковская, нач. 60-х годов*

Но из этой, может быть, и ценной идеи ничего не получилось. Закончился этот эксперимент очень быстро.

Рядом с Коммунистической аудиторией находилась (выходила на ту же балюстраду) 66-я аудитория, с которой связано одно из самых незабываемых наших впечатлений. Аудитория эта, очень светлая, с высокими потолками и большими, высоко расположенными окнами, была довольно просторная, в ней было много воздуха и света. Там читали общие лекции (кажется, по современному русскому, на которые мы практически не ходили). Но запомнилась она нам не общими лекциями, а знаменитыми спецкурсами артистичного и неповторимого Сергея Михайловича Бонди по Пушкину и строению стиха. Эти спецкурсы привлекали слушателей не только с филологического, но и с других факультетов. Судя по внешнему виду, там были не только студенты и аспиранты, но и вполне зрелые люди. Мы ждали этих спецкурсов, это был праздник для всех нас, и впечатление от них было сродни впечатлению от музыки, от какого-то прекрасного концерта. Конечно, эти спецкурсы были в разную погоду, но в нашей памяти они связаны с солнцем и музыкой. Светлым человеком был и сам Бонди (да и Александр Сергеевич!). Это впечатление усиливалось и музыкальностью (и музыкальным образованием) самого Сергея Михайловича.

Но вернемся к Коммунистической аудитории. Эта знаменитая аудитория была связана не только с лекциями. Там происходили важные, судьбоносные события нашей (и не только нашей!) жизни. Так, в знаменитом 1956 году, когда мы были первокурсниками, в этой аудитории проходило обсуждение вышедшего в том же году романа Дудинцева «Не хлебом единым». Этому событию предшествовал XX съезд партии, на котором Хрущев прочитал доклад, разоблачавший Сталина. В стране происходили невообразимые раньше события: возвращались из лагерей люди, начинали говорить то, что думают. И обсуждение этой книги вылилось в открытое выражение чувств, честный рассказ о том, что на самом деле происходило в стране в глубинном разрезе жизни, пронизанной страхом и скрытой пропагандой. Коммунистическая была наполнена до краев. Сидели так плотно, что невозможно было встать или подвинуться. (Нам с Аней

посчастливилось сесть.) Все проходы на лестницах амфитеатра были забиты главным образом уже стоящими людьми. Лица были самые разные: и студенты, и преподаватели, и люди, может быть, когда-то, в самое разное время окончившие университет, а может быть, и люди, не имеющие к нему прямого отношения, но связанные с темой обсуждения. В руках у некоторых были плакаты. На одном из них было написано: «А существует ли соцреализм?». По тем временам это было кощунством, если не преступлением, посягательством на основы. В зале царил невообразимый подъем. Говорили не только и не столько о романе, сколько о жизни в сталинскую эпоху. Все было как во сне. Казалось (и верилось), что грядут великие и необратимые перемены.

Нашему поколению (а более конкретно – курсу, выпуску) необыкновенно повезло: в самом начале нашей университетской жизни был нанесен первый удар сталинскому режиму. И разница между довольно близкими по времени курсами была огромной. Так, у нас уже не было погромных обсуждений личных дел на комсомольских собраниях (что имело место на курсах, которые были старше нас на несколько – не так много – лет).

Да, перемены происходили, но не сразу, как ожидали, и не везде. Ведь на местах остались те же люди, что были и до 1956 года. Была и выжидательная позиция, и откаты назад. Продолжали существовать и действовать парткомы. Правда, происходили и изменения и в умонастроении людей, которые хотели поддерживать начавшиеся изменения. Так, среди части демократически настроенной интеллигенции возникали попытки ускорить позитивные изменения в жизни страны через вступление в партию. (Об этом писала и Аня в своих воспоминаниях.) Так что обстановка и в стране, и на факультете была неоднозначной. В этом же знаменитом 1956 году, к концу его, произошли так называемые венгерские события, ввод наших войск на территорию этой страны с целью подавления восстания.

Помню, в нашей группе в это время практические занятия по диалектике (диалектическому материализму) вел очень интересный необычный человек, яркий, свободно мыслящий и говорящий удивительные для нас вещи. Необычным был и его облик.

Кажется, он был серб. Говорили, что он был с философского факультета. К сожалению, больше мы его не видели.

Постепенно стали возвращаться в программы по литературе и в учебный процесс авторы и произведения, которые раньше не проходили политический барьер.

Так, на нашем курсе впервые за много лет в программу по зарубежной литературе XX века для русского отделения вернули Хемингуэя и Ремарка. Помню, как мы (группа, включая нас с Аней) читали по очереди перед экзаменом романы «Прощай, оружие» и «На западном фронте без перемен». Проходило это в уютной Горьковке (читалке и библиотеке им. Горького для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей), находившейся в здании, соседнем с аудиторным корпусом.

Книги эти были изданы давно, а потом изъяты из обращения. Были они зачитаны до предела поколениями филологов, которым было дозволено их читать. До сих пор помню (когда доходила очередь на книгу) потрясающее ощущение погружения в особый, необыкновенно притягательный мир, когда все окружающее уходит.

В этот же год (1959, когда мы учились на четвертом курсе) был издан у нас роман Ремарка «Три товарища» в мягкой обложке, с суперобложкой, в серии «Зарубежный роман XX века». Это тоже веяние времени! Помню, как мы с Аней купили эти книги в вагоне, возвращаясь в Москву из Паланги (открытой для нас друзьями моей мамы). Помню, как мы с ней залезли с книгами на свои верхние полки, и все окружающее исчезло, а мы погрузились в другой мир.

Но вернемся назад, к нашему второму курсу, когда нам предстояло выбрать спецсеминар. Это чрезвычайно важный момент, который может определить не только студенческую жизнь, но и послеуниверситетскую. И вот в начале нашего второго курса, осень 1956 г. (а может быть, и в конце первого курса), стоим мы с Аней в закоулке четвертого этажа около кафедры русской литературы перед списком спецсеминаров. Из руководителей мы почти никого не знали. Исключение составлял Николай Иванович Либан, который вел в нашей группе на первом курсе практические занятия по древнерусской литературе и произвел

на нас сильное и благоприятное впечатление. Но тема его семинара (Чернышевский) была для нас абсолютно неприемлема. Так что выбирали мы семинар по теме; такой единственной из представленных в списке была, конечно, тема, связанная с Лермонтовым, а точнее – «Лермонтов в русской критике». Дополнительную роль в нашем выборе сыграл еще один факт, о котором вспомнила Аня в наших курсовых воспоминаниях (точнее, дополнительно подтвердил правильность выбора). У списка тем появились две наши однокурсницы, Женя Пикман и Таня Александрова, которые слышали что-то хорошее об этом руководителе и его семинаре от своих старших сестер. (Это был первый турбинский семинар 1958 года выпуска.) Итак, выбор был сделан, и наша судьба была определена на все предстоящие студенческие годы, а для некоторых – и на всю оставшуюся жизнь. Этот факт лишний раз подтверждает, что ничего случайного нет. И сейчас, спустя 50 лет после нашего окончания университета, могу подтвердить правильность нашего тогдашнего выбора.

И судить об этом надо с учетом особенностей того времени, атмосферы в стране и на факультете, а также характера личности Владимира Николаевича, его настроения в то время. Главное, что он нам дал, – это ощущение свободы (и не только в политике), свободы от догм, стремление посмотреть на явление литературы без предвзятости, без устоявшихся представлений, которые воздвигали между читателем и литературным фактом определенный барьер, фильтр. Об этом писала и Аня в воспоминаниях нашего выпуска: «...семинар был важен для нас тем, что он был зоной умственной свободы...» (Время, оставшееся с нами: Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. М., 2006, с.63).

Ключевое слово здесь – свобода. И нам необыкновенно повезло, что мы учились в такой важный момент в истории нашей страны и что нам в это время встретился человек, который нес в себе это. И в данном случае совершенно не важно, как изменялись (и изменялись ли) его взгляды, каким он стал в последние годы. Это уже другая тема. Главное – он пришел в свое время и очень точно воплотил его в своей преподавательской деятельности.



*Участники семинара Турбина в доме С.М.Александрова.  
Слева направо: Л.Ф.Чернякова, А.И.Журавлева, Б.Л.Огибенин, М.Арапов*

И со второго курса главное место в нашей университетской жизни занял семинар Владимира Николаевича Турбина. Семинару шел всего третий год, но, несмотря на это, он уже становился известным. И в этом году, до которого Аня, увы, не дожила, исполняется полвека со дня нашего окончания университета. Состояние какое-то странное: цифра эта фантастическая существует как-то вне нас, самостоятельно и независимо, а наша жизнь университетская неудержимо и стремительно приближается к нам.

Был тогда Турбин совсем молодым (29 лет), но держался с нами не панибратски, а со спокойной доброжелательностью и живым интересом. Голос глуховатый, негромкий, интонация ироничная и в то же время доверительная. Все это – его манера общения, облик – было непривычным и выделяло его из обычной преподавательской среды. Его талант, самобытность при внешне не броской, не громкой, не яркой манере неизменно привлекали к нему внимание студентов. У него, как бы сейчас





*Слева направо: А.И.Журавлева, А.С.Александрова, Б.П.Энтин*

сказали, была харизма. Он притягивал к себе молодежь (разумеется, не абсолютно всех, но очень многих).

И нам очень повезло, что мы встретили такого человека в начале нашей университетской жизни, которая совпала с радикальными изменениями в жизни страны.

Очень удачным был выбор темы семинара нашего второго курса – «Лермонтов в русской критике», что явилось хорошей школой для нас. И правильно, что эта тема предшествовала попыткам нашего анализа произведений поэта. Турбин не ограничился привычной в то время революционно-демократической критикой, представив довольно полную картину русской критической мысли. Разумеется, присутствовал Белинский, но, что было удивительно для того времени (вторая половина 50-х годов), был представлен и Серебряный век, и почвенник Ап.Григорьев, и блистательное литературоведение 20-х годов. Насколько я помню, Владимир Николаевич сам предлагал каждому из нас тему: Д.Мережковский (Тане Александровой), Ю.Айхенвальд

(Жене Пикман), Белинский (Тане Мошкиной). Ане были предложены выдающиеся представители литературоведения 20-х годов Ю.Тынянов и Б.Эйхенбаум, мне – неведомый нам тогда Аполлон Григорьев. Нам с Аней казалось, что у нас были самые интересные темы. Сейчас думаю, что так оно и было.

Ап.Григорьев поразил наше воображение и явился для нас настоящим открытием. Помню, с каким увлечением и восторгом читали мы небольшие книжечки (называемые «выпусками») дореволюционного собрания его сочинений 1915 г. под редакцией Саводника. Происходило это в любимой нашей уютной Историчке (Исторической библиотеке). До сих пор стоит перед глазами небольшой уютный зал с зелеными лампами. Там всегда были свободные места и удивительная атмосфера; и сотрудники, и посетители вызывали доверие и симпатию. Небольшое



*А.И.Журавлева на Лермонтовской конференции в ЛГУ 11 мая 1958 года*

трехэтажное здание библиотеки в удивительном уголке старой Москвы – в тихом Старосадском переулке, выходящем на Маросейку (тогда улицу Богдана Хмельницкого).

До сих пор помню наш восторг (которым хотелось поделиться со всеми) при чтении Ап.Григорьева и наше наивное удивление, как критик такого масштаба, таланта и самобытности был забыт, вычеркнут из программ филологических факультетов и вообще из истории науки.

Наше первое незабываемое знакомство с Ап.Григорьевым име-

ло свое продолжение. Когда мы учились на третьем курсе, Владимир Николаевич предложил нам с Аней написать общий доклад на тему «Лермонтов в критике 60-х гг.» для II Лермонтовской студенческой конференции, которая состоялась в ЛГУ (тогда – Ленинградском университете) в мае 1958 года. Главной фигурой был для нас, конечно, поразивший наше воображение Аполлон Григорьев. Но совершенно очевидно, что такая тема (Ап.Григорьев), вынесенная в заголовок, для публичного выступления на конференции была тогда абсолютно невозможной. «Реакционер», «идеалист», непримиримый противник революционеров-демократов однозначно не мог быть «героем» доклада, будучи для тогдашней официальной науки фигурой абсолютно неприемлемой. И обобщенно-безличное заглавие доклада, будучи привычным, скрывало заложенную в тексте «бомбу». И наша благодарность Владимиру Николаевичу, который пошел в то время на определенный риск (возможность отрицательных отзывов, разгрома на конференции, а затем и в печати). Но это была его позиция и его натура.

К счастью, все обошлось. Доклад был принят хорошо. Прежде всего благодаря составу «судий» – ученых, руководителей лермонтовских семинаров представленных на конференции вузов. Здесь следует отметить ленинградских ученых: руководителя лермонтовского семинара ЛГУ Владимира Андрониковича Мануйлова, Дмитрия Евгеньевича Максимова, известнейшего лермонтоведа Ираклия Луарсабовича Андроникова и др. (Сыграло свою роль и отсутствие на заседании одиозных фигур.) Весьма положительной оценке доклада способствовало также грамотно построенное изложение (дипломатически «правильное» соотношение революционно-демократических и прочих воззрений, главным образом нашего героя, «ярого реакционера», с точки зрения советского литературоведения). В этом заслуга опытного (по сравнению с нами) Владимира Николаевича. «Революционность» нашего доклада была удачно подтверждена и в то же время уравновешена долей здорового академизма (по правде сказать, не очень-то свойственного Владимиру Николаевичу и, соответственно, семинару).

Наш главный «козырь», с точки зрения наших возможных

оппонентов, – это ссылка на недавно (тогда!) обнаруженный архивный документ, чем мы были обязаны Владимиру Николаевичу Турбину, а через него – Владимиру Яковлевичу Лакшину, нашедшему этот документ. В будущем это известный критик и литературовед, писатель, стоявший у истоков «Нового мира» Твардовского вместе с Игорем Виноградовым. Тогда же это был аспирант филфака Володя Лакшин, который занимался этим периодом русской критики и сделал важное открытие – обнаружил в архиве М.П.Погодина (в рукописном фонде Гос. публичной библиотеки им. Ленина) необычайно интересный документ, написанный, как он установил, Ап.Григорьевым, – «Окружное послание о правилах отношений критики «Москвитянина» к литературе русской и иностранной, современной и старой». Здесь нашли свое подробное изложение основы его так называемой «органической критики» (тогда еще никто из нас, и сама Аня, не мог знать, что она будет заниматься так плодотворно этим периодом русской литературы).

Вопрос о народности искусства (литературы) – один из важнейших для Ап.Григорьева. Для него это коренные нравственные начала народной жизни, а отнюдь не социальный протест против темных сторон жизни.

В пьесах А.Н.Островского увидел Григорьев блестящее подтверждение своей теории народности.

Доклад этот («Лермонтов в критике 60-х гг.») явился важной вехой в нашей студенческой, а для Ани – и в последующей, уже преподавательской и научной жизни.

С самого начала университетской жизни было ясно, что филология (литературоведение) – ее призвание. Об этом свидетельствовали ее одаренность, талант, умение работать самоотверженно и целеустремленно; способность видеть проблему и находить пути ее решения.

В этом докладе заложены зерна будущих работ Ани. Все это оказалось не случайным, а нашло блистательное и плодотворное продолжение. Это и Аполлон Григорьев, возвратившийся к читателям спустя более полувека (*Григорьев Ап.* Эстетика и критика / Вступительная статья, составление и примечания

А.И.Журавлевой. М., 1980<sup>1</sup>); и Александр Николаевич Островский, представленный в истинном свете, без идеологически мотивированных искажений (*Журавлева А.И.* А.Н.Островский – комедиограф. М., 1981).

А я мысленно возвращаюсь в нашу с Аней юность, когда все еще только начиналось...

\*\*\*

Перед заключением хочу вспомнить один момент и тем самым ответить на вопросы, которые мне задавали некоторые из друзей.

Дело в том, что я называла Аню по имени только при посторонних, и это обращение в моих устах казалось нам каким-то официальным. Для нас и самых близких (родных и друзей) она была «Пустынником» (существовали и сокращенные варианты).

Наименование это родилось в одном из первых наших летних колхозов (кажется, около ставших впоследствии легендарными Петушков). Аня перестала ходить в местную столовую. Спрашиваю: «Чем же ты питаться будешь?» Ответ: «Акридами». Сразу вспомнились «отцы пустынники». Говорю: «Ты что, пустынник?!». С этого все и пошло. Вскоре появилось и второе, дополнительное подтверждение этого именованя.

У Ани были необыкновенные глаза.

Как-то она вспомнила, что ее дядя когда-то говорил, что у жителей пустыни такой разрез глаз, чтобы в песчаные бури в них не попадал песок.

С тех пор я называла ее этим «именем», а она не только откликалась, но и подписывалась им в письмах и дарственных надписях, адресованных мне.

Жизнь потом развела нас, но Аня всегда была для меня родным человеком и останется им до конца.

---

<sup>1</sup> Инициатором издания «Эстетики и критики» и его редактором был Сережа Александров, работавший тогда в издательстве «Искусство» (см. статью А.И.Журавлевой в сборнике «Время, оставшееся с нами. Филологический факультет 1955-1960 гг. Воспоминания выпускников.» (М., 2006). Сережа Александров – активный участник одного из самых ярких турбинских семинаров, выпуск 1962 г. – *Прим. Е.Ж.*

Последняя наша встреча произошла в октябре 1993 года на похоронах Владимира Николаевича Турбина.

Встретились мы у храма Илии Обыденного, где все ожидали начала отпевания. Мы бросились друг к другу, плакали. И как будто не было этих лет разлуки, и наше общее прошлое вернулось к нам, это был короткий миг, в который промелькнула наша молодость, университет, семинар и все-все...

Так Владимир Николаевич снова объединил нас.

Мне было очень трудно писать об Ане. И, прочитав написанное, вижу, что это скорее какие-то наброски, заметки о местах, в которых мы бывали, где мы учились, где проходила наша университетская жизнь.

Я не могла говорить об Ане прямо, так, чтобы она непосредственно присутствовала: говорила, смотрела, реагировала. Это было слишком тяжело. Думаю, она поняла бы меня. И пусть все это останется со мной.